



Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ

Не святая Русь

(Религия Горького)

I

Куда идет Россия? Великие русские писатели отвечают на этот вопрос, — как бы вечные вехи указывают путь России.

Последняя веха — Толстой. За ним — никого, как будто кончились пути России. За Толстым никого — или Горький.

По сравнению с теми, великими, Горький мал. Мало все, что рождается; велико все, что выросло, достигло своего предела и конца. Великим кажется прошлое, малым — будущее. Вот почему Горький и те, великие, — младенец и взрослые, росток из-под земли едва пробившийся, и дремучие, древние дубы. Но они кончают, а он начинает. Они — настоящее и прошлое, а он — будущее. Откуда идет Россия, можно судить по ним, а куда, — по Горькому.

Сознание, идущее к стихии народной, воплотилось в тех, великих. Обратное движение — народная стихия, идущая к сознанию, воплотилась в Горьком.

Сознание над стихией властвует. Народ, идущий к сознанию, есть народ, идущий к власти. Возникающее сознание народа — возникающая власть народа — «народовластие», «демократия». Горький есть первый и единственный сейчас представитель возникающей русской демократии.

Лица тех великих — гениально личные, неповторяемые; таких лиц никогда еще не было и никогда уже не будет. У Горьких как бы вовсе нет лица; лицо как у всех собирательное, множественное, всенародное. Но правда единственных, правда личностей («аристократия» в высшем смысле) уже совершилась, достигнута; а правда всех, правда множества («демокра-

тия» тоже в высшем смысле) еще только совершается, достигается. Последнее, величайшее явление личности — в тех великих; первое, самое малое явление всенародности — в Горьком.

Нас пугает безличность множества. Но, ведь, всякий зародыш безличен, всякое семя без-образно, а между тем таит в себе возможность нового прекраснейшего образа, новой совершеннейшей личности. Если семя не умрет, то не оживет: надо умереть одному, чтобы ожить всем; надо умереть личности, чтобы ожить множеству.

Те великие слишком сложны; потому-то и стремятся так жадно к простоте, к всенародной или только простонародной стихийности. Горький слишком прост; потому-то и стремится так жадно к сознательной или только к полусознательной сложности.

Как явление художественного творчества, Толстой и Достоевский неизмеримо значительнее Горького. О них можно судить по тому, что они говорят; о Горьком — нельзя: важнее всего, что он говорит, то что он есть. Самая возможность такого явления, как он, как они — потому что он — многие или будет многими, самая возможность эта, в смысле жизненном, не менее значительна, чем все художественное творчество Толстого и Достоевского.

В этом же смысле жизненном, он, «малый», — не меньшее знамение времени, чем те великие. И, может быть, сейчас не в них, а в него надо взглядеться, чтобы понять наше время, ответить на вопрос, куда идет Россия.

II

Несколько лет назад предсказывали «конец Горького». В предсказании была правда и ложь. Как пророк «сверхчеловеческого босячества» Горький действительно кончился. Но кончился один Горький — начался другой.

Страшное испытание огнем — ложною славой — выдержал он, как немногие. Сделал, хотя бы бессознательно, то, что способны делать только самые сильные русские люди — «сжечь все, чему поклонялся, — поклонился всему, что сжигал». Ведь, именно то, что он утверждал некогда, как последнюю правду — «Человек — это гордо» — человек против человечества, один против всех, — он теперь отрицает, как последнюю ложь. Самого себя отрицает, преодолевает. Преодолеет ли? Но уже одно то, что преодолевает, — знак силы. Чтобы так одному че-

ловеку пережить две жизни, кончиться и снова начаться, нужна большая сила. Теперь уже никакие испытания огнем не страшны ему: в огонь вошло железо, вышла — сталь.

Чужое лицо истлело на нем — пышная маска «сверхчеловека», «избранного», «единственного», — и обнажилось свое, простое лицо, лицо всех, лицо всенародное.

Стихия разлагается неполным сознанием — полусознанием. Человек из народа, делаясь полусознательным, «полуинтеллигентным», изменяет своей народной стихии. Так изменил ей Горький, тот, первый, чей «конец» уже наступил. А этот второй, «начинающийся», к ней возвращается или хочет вернуться. Но нельзя вернуться к стихии, не пройдя через полноту сознания, а эта полнота не может не быть религиозною, ибо религия и есть абсолютный предел, исполнение, завершение сознания, абсолютное соединение всех частей сознания в единое целое. Вот почему Горький ищет религиозного сознания — может быть, пока еще бессознательно. Как это ни странно — искать сознания бессознательно, — это часто бывает с такими людьми полусознательными.

А что это именно так, что нет для Горького иных путей к народной стихии, как через сознание религиозное, — видно по его последней книге — «Детство».

Не только в смысле художественном это — одна из лучших, одна из вечных русских книг (не потому ли так мало сейчас оцененная, что слишком вечная), но и в смысле религиозном — одна из самых значительных. На вопрос, как ищут Бога простые русские люди, «Детство» Горького отвечает, как ни одна из русских книг, не исключая Толстого и Достоевского.

Толстым и Достоевским наше религиозное сознание переполнено; никуда нам не уйти от них. Но вот Горький ушел. Он, первый и единственный, заговорил о жизни народа помимо Толстого и Достоевского и даже против них. У Горького все в этой области новое, неожиданное, непредвиденное, неиспытанное — целый религиозный материк неведомый.

Неужели человек, сам чуждый религии, мог бы это сделать? Неужели только случайность, часто наиболее правдивое, сильное, вечное из всего, что написано Горьким, — наиболее религиозно?

В своем интеллигентском сознании или полусознании он отрицает религию. Но между интеллигентским сознанием его и его народною сущностью — противоречие неразрешимое. Тут то именно, в религии, он и отрицает, преодолевает себя с наибольшею силою, с наибольшею мукою. Тут вопрос — быть или

не быть Горькому истинным пророком того, к чему Россия идет, — народного сознания, народной власти — «народовластия», «демократии» в подлинном, религиозном смысле этого слова.

«Не надо религии, Бога не надо», — говорит интеллигентское сознание Горького, а вот что говорит его народная сущность:

«В те дни (детства) мысли и чувства о Боге были главной пищей моей души... Бог был самым лучшим и светлым из всего, что окружало меня».

Так было в детстве, в начале жизни. Когда круг замыкается, то начало его сходится с концом. Богом все началось у Горького — не Богом ли и кончится?

Бог его — «бабушкин Бог». Бабушка маленького героя «Детства», Алеши Пешкова (Горький не скрывает, что Алеша — он сам) — духовная мать его: она родила его, создала, «вывела на свет» — хранила, спасала в детстве, а может быть, и доныне спасает и будет спасать до конца.

«До нее как будто спал я, спрятанный в темноте, но явилась она, разбудила, вывела на свет... и сразу стала на всю жизнь другом самым близким сердцу моему». На всю жизнь — на веки веков. Если это так, если бабушка, то и «бабушкин Бог» — самое лучшее и светлое в детстве, в начале жизни — тоже на всю жизнь, на веки веков.

Бабушка вся, до последней морщинки, — лицо живое, реальное; но это — не только реальное лицо, а также символ, и, может быть, во всей русской литературе, не исключая опять-таки Толстого и Достоевского, нет символа более вещего, образа более синтетического, соединяющего.

Бабушка — сама Россия в ее глубочайшей народной религиозной сущности. Отречься от Бабушки, значит, отречься от самой России. Этого Горький не сделает и, если бы даже хотел, то не мог бы это сделать. Сколько бы ни отрекался от религии, какими бы безбожными словами ни говорил о ней, как бы ни был религиозно бессознателен, или, хуже того, полусознателен, он все-таки не отречется от своей народной «крестьянской» — «христианской» сущности. И если Бабушка воистину — Россия, то все, что говорит он о себе и о ней, — больше, чем рассказ о своей жизни, и даже больше, чем исповедь, — это проповедь, пророчество о том, куда идет Россия.

«Ее бескорыстная любовь к миру обогатила меня, насытив крепкой силой для трудной жизни».

«Любовь к миру» — религия Бабушки — религия Горького. Какая же это религия? Христианская? Но, ведь, христиане —

люди не от мира сего: «не любите мира, ни того, что в мире; любовь к миру — вражда Богу». А Бабушка любит мир и Бога вместе. Для христиан «небесное» значит «неземное»; любить небо — ненавидеть землю. А Бабушка любит землю и небо вместе. Да и как ей не любить земли, когда она сама земля?

«— Хороша у тебя бабушка, — о, какая земля!» — говорит о ней кто-то.

«— Ты настоящая мне мать, как земля», — говорит ей самой кто-то.

Алеша Пешков слышал эти слова, и Горький запомнил их «на всю жизнь», на веки веков. Ведь именно «любовь к земле», тайна земли и соединила его с Бабушкой, с ее народной сущностью, ибо тайна народа — тайна земли.

Если Христос равен христианству, если в христианстве все кончено, сказано, сделано — есть то что есть и больше ничего не будет, то религия Бабушки — не христианская и не Христова. Тогда прав дедушка, из православных православнейший:

«— Ты ей, старой дуре, не верь. Она смолоду глупа, она безграмотна и безумна».

Но если Христос больше, чем христианство; если в христианстве не только есть то, что есть, но что-то будет еще, то религия Бабушки — может быть, и не христианская, но Христова воистину.

Бабушка — не святая, а грешная, «окаянная». Любит плясать, петь, нюхает табак, пьет вино. И выпивши, «становится еще лучше».

— Господи, Господи! Как хорошо все! Нет, вы глядите, как хорошо-то все! — говорит пьяная, точно молится.

Вообще не умеет молиться, как следует.

— Сколько я тебя, дубовая голова, учил, как надобно молиться, а ты все свое бормочешь, еретица... чуваша проклятая!

Бормочет свое — не церковное, не православное и, может быть, даже не христианское — такое вольное, странное, ни на что непохожее, что православному дедушке молитвы эти кажутся кощунствами. Говорит с Богом «внушительно», то как будто «советует» Ему, то как будто «ворчит» на Него — бунтует, богоборствует: «Господи, али не хватило у Тебя разума доброго на меня, на детей моих?..» То жалеет Бога — «такого милого друга всему живому» — всеблагого, но не всемогущего и не всеведущего: «Кабы все-то знал, так бы многого, поди, люди-то не делали бы! Он, чай, Батюшка, глядит-глядит с небеси-то на землю, на всех нас, да в иную минуту, как восплачет да возрыдает: “Люди вы Мои, люди, милые Мои люди! Ох, как

Мне вас жалко!"» Этот плачущий Бог — «безумие», «безграмотность». А разве Агнец, закланный от начала мира, — тоже не безумие? Только то — привычное, старое, а это — новое, необычайное.

Бабушка не умеет молиться, как следует, Богу Отцу и Сыну Божьему; но на языке человеческом нет молитв прекраснейших, чем ее акафисты Божьей Матери.

«Радость неизбывная... яблоня во цвету... сердечушко мое чистое, небесное... солнышко золотое...»

Нет, этого нельзя повторить, — надо самому услышать. И всего удивительнее, что услышал это неслыханное, затаеннейшее в сердце народа, в сердце земли, не христианин Толстой, не православный Достоевский, а «безбожный» Горький.

Что такое «Матерь Божья», бабушка сама не знает. Если бы спросить ее об этом, то она указала бы на икону Казанской, Тихвинской, Федоровской или иной поместной Матушки. Так — в ее сознании, но не так — в ее бессознательном религиозном «ведении», «гнозисе».

«Ты настоящая мне мать, как земля», — могла бы она сказать Божьей Матери, так же как ей самой говорит кто-то. Или как у Достоевского (в «Бесах») говорит одна прозорливая: «Матерь Божья есть великая мать сыра земля». Тайна Матери — тайна Земли.

В догматической христианской Троице — Отец, Сын и Дух; а в этой бабушкиной, как будто не христианской, «еретической» — Отец, Сын и Мать. Неоткрытый, неисповеданный, неисполненный лик Духа — в лике Земли-Матери.

Отец — в Первом Завете, Сын — во Втором; не в последнем ли, Третьем — Дух? Явление Духа — Святая Плоть, Святая Земля, Вечное Материнство, Вечная Женственность. Если откровение Отца — любовь к миру (земное, природное, космическое — в дохристианских религиях); если откровение Сына — любовь к Богу (неземное, антикосмическое, «не от мира сего» — в христианстве), — то откровение Духа — любовь к земле и к небу, любовь к миру и к Богу вместе. А, ведь, это и есть религия Бабушки. Вот к чему она прикасается, «старая дура, безумная, безграмотная».

Лермонтов, Тютчев, Некрасов, Вл. Соловьев, Достоевский и те, кто идет за ними — русские люди высшего религиозного сознания — прикасались к тому же. — «Это страшно верное, страшно русское», — говорит кто-то о бабушкиной религии.

Тут высота сходится с глубиной — высота русского религиозного сознания — с глубиной русской религиозной стихии. И

опять всего удивительнее, что это схождение увидел, — хотя бы слепо увидел, только нащупал, — не христианин Толстой, не православный Достоевский, а «безбожный» Горький.

Русских интеллигентных «богоискателей» ненавидит он и презирает, а сам приближается к ним, как никто; открывает в своей народной стихии то же, что они открыли в своем интеллигентском сознании. На разных языках говорят об одном.

III

Бабушка — Россия, но не вся, потому что у России — «две души», по вещему слову Горького, может быть, из всех его слов самому вещему. Одна душа России — Бабушка, другая — Дедушка.

Бабушка прекрасна, дедушка уродлив. У бабушки — добрый Бог — «такой милый друг всему живому»; у дедушки — злой. Если бабушкин Бог — настоящий, то дедушкин — не Бог, а дьявол.

Так или почти так для Алеши Пешкова, но не так или не совсем так для Горького. Он уже знает, что не вся правда у Бабушки, что есть и у Дедушки своя правда, такая же вечная, «страшно верная, страшно русская».

Не всегда был и дедушка злым уродом.

«Он ведь раньше-то больно хорошим был, да как выдумал, что нет его умнее, с той поры и озлился и глупым стал».

Был хорошим, — может быть, и будет. Может быть, не только по своей вине, но отчасти и по вине самой бабушки озлился и оглупел.

«— Меня дедушка снова бил на первый день Пасхи от обедни до вечера. Побьет — устанет, а отдохнув — опять. И возжами и всяко.

— За что?

— Не помню уж...

Бабушка была вдвое крупнее деда, и не верилось, что он может одолеть ее.

— Разве он сильнее тебя?

— Не сильнее, а старше... За меня с него Бог спросит, а мне заказано терпеть».

Даже маленький Алеша чувствует, что чего-то не хватает бабушке. «Иногда хочется, чтоб она сказала какое-то сильное слово, что-то крикнула». Но никогда ничего не скажет — будет

молчать и терпеть до конца. И чем больше будет терпеть Бабушка, тем больше будет Дедушка злиться и глупеть.

Бабушка, хотя и не святая, но «вроде святой», и главный грех ее — не во грехе, а в святости. Чем сама она святее, тем грешнее все вокруг.

Знает — и не может; созерцает — и не делает. Дедушка знает и делает — мало знает, плохо делает; но в России так мало созерцания, так мало делания, что уж лучше плохо, чем никак.

Бабушка — огромная и мягкотелая, рыхлая, бескостная. Дедушка — маленький, крепенький, остренький, как рыба косточка, и все-таки сглотнул огромную, а его самого никто не сглотнет — косточкой подавится.

Бабушка — беспредельная и безличная. Узок дедушкин предел, но зато у него есть лицо — правда, полузвериное — но все лицо — зародыш личности.

В Бабушке — «дионисовское», в Дедушке — «аполлоновское». Бабушка — пьяная, Дедушка — трезвый.

Бабушка делает Россию безмерною; Дедушка мерит ее, копит, собирает, может быть, в страшный кулак; но без него она развалилась бы, расплзлась бы, как опара из квашни.

И вообще, если бы в России была одна Бабушка без Дедушки, то не печенеги, половцы, монголы, немцы, а своя родная тля заела бы живьем «Святую Русь».

Бабушка — Россия старая, обращенная к Востоку; Дедушка — Россия новая, обращенная к Западу. Бабушка безграмотна; Дедушка полуграмотен. Но если когда-нибудь Россия будет грамотной, то благодаря не Бабушке, а Дедушке.

Бабушка — «еретица», «вольница» на словах, в созерцании, а на деле ей «заказано терпеть». Дедушка пока что «православен» и «самодержавен». И тоже терпит, потому что руки коротки, чтоб сдачи дать; но когда вырастут — не стерпит. И если, вообще, кто-нибудь забунтует в России, то уж, конечно, не Бабушка, а Дедушка.

— «Ты за бабушку крепко держись, — советует кто-то Алексею. Горький исполнил этот совет: крепко за Бабушку держится, но, может быть, еще крепче — за Дедушку. И если вошел в огонь железом, а вышел сталью, то благодаря не Бабушке, а Дедушке.

Бабушкину правду — «Святую Русь» — понять легко, она сияет, лучезарная; правду дедушкину — Русь не святую — понять трудно: она сквозь облик звериный чуть светится. Ни Толстой, ни Достоевский не поняли ее, потому что смотрели на нее со стороны, извне; Горький понял, потому что увидел ее изнутри.

IV

О двух душах России говорит «Детство». О том же говорит статья, не случайно написанная Горьким почти одновременно с «Детством», так и озаглавленная «Две души».

У России — две души — азиатская, восточная и европейская, западная. На Востоке господствует религия, на Западе — наука. Религия утверждает то, чего нет (бытие Божие, загробную жизнь и прочие «суеверия», «фантазии»); религия — ложь. Наука утверждает то, что есть («законы природы»); наука — истина. Россия гибнет или находится на краю гибели, потому что колеблется между двумя душами — восточной и западной. Чтобы спастись, надо перестать колебаться, надо сделать выбор: отречься от Востока, от религиозной лжи, и предаться Западу — научной истине.

Вот как просто, и если бы речь шла не о Горьком, можно бы сказать — вот как простодушно до деткости, до дикости.

Стоит ли возражать? Нужно ли доказывать, что нельзя ставить знак равенства между «суеверием», «фантазией», обманом воображения и религиозным опытом; что после кантовской «Критики»¹ утверждать на основании научного опыта или философии разума, что Бог есть, или что Бога нет, два одинаковых невежества?

Если Горький атеист-догматик, то нечего ему говорить о «научном мышлении», как единственном способе познания, потому что всякий догматизм, все равно, отрицательный или положительный, всякая вера, все равно, в бытие или небытие Божие, — противоречат законам «научного мышления». Если же он позитивист-агностик, то как же он смешивает «непознанное» с «Непознаваемым»? Стоило бы ему заглянуть в «Первые Начала» Спенсера, творца агностицизма, чтобы увидеть, что «Непознаваемое» никогда не может быть познано по самой природе научного опыта. Такова философская неосведомленность Горького.

Неосведомленность историческую высказывает он, когда противопоставляет религиозный Восток научному Западу, как две равнодействующие во всемирной истории. Если понимать религию в нашем европейском смысле, как теизм, утверждение Бога, — а так именно понимает религию Горький, — то большая часть Востока — буддийская — нерелигиозна, атеистична, потому что буддизм — чистейший атеизм; только приближаясь к Западу, Восток становится религиозным в нашем,

европейском, смысле — теистичным (зороастризм, иудаизм, ислам); а чем дальше от Запада, чем восточнее, тем атеистичнее. Все религии, так же, впрочем, как и все научные системы (египетские, ассиро-вавилонские основы греко-римского знания), на Востоке рождаются, но растут и зреют на Западе. Семья — на Востоке, цвет и плод — на Западе. Там — религиозное прошлое человечества, здесь — настоящее и будущее. Христианство родилось на Востоке, но выросло на Западе. И если христианство — религия всемирно-историческая по преимуществу, то не Восток, а Запад религиозен по-преимуществу.

Неосведомленность психологическую высказывает Горький, когда противопоставляет религию, как абсолютное созерцание наук, как абсолютному действию. Религия — или ничто, «обман воображения», или величайшее явление человеческой воли, а воля — единственный источник действия. Разум освещает и направляет, — воля решает и совершает действие. Вот почему безвольная, бездейственная религия — все равно, что не жгущий огонь: огонь перестает жечь, когда потухает; и религия становится бездейственной, когда перестает быть религией. Наоборот, наука становится действенной, только переставая быть наукою и делаясь «религией», обращаясь от разума к воле, хотя бы бессознательно. Чтобы действовать, надо желать или знать должное, а для науки нет ни желанного, ни должного, — есть только данное.

Религия, по мнению Горького, поработщает; наука освобождает личность. Но самое понятие «личности» неразрывно связано с понятием «свободы», а для науки нет свободы: закон необходимости, детерминизм — основной закон научного мышления. Вот почему наука не знает «личностей», а знает только «неделимые», «особи» безличных «родов» и «видов». Понятие «личности», так же, как понятие «свободы» — вовсе не научное, а религиозное. Чтобы утвердить личность, надо утвердить свободу, преодолеть закон необходимости в его самой крайней точке — в смерти, как уничтожении личности. Это и делает христианство — религией абсолютной свободы, Абсолютной Личности.

Из всего, что говорит Горький о религии, одно только верно, — что религия «опасна». Но ведь вообще всякая сила опасна: чем больше сила, тем опаснее; религия — величайшая сила — величайшая опасность. Но если от огня бывают пожары, из этого не следует, что надо жить без огня.

V

Да, говоря о религии, Горький не знает, о чем говорит. Но важно не то, что он знает и чего не знает, а то, чего он хочет и не хочет.

Не хочет религии, потому что хочет любить мир, а всякая религия есть нелюбовь к миру.

Ну, а как же бабушкина религия — любовь к миру к Богу вместе? «Это ее бескорыстная любовь к миру обогатила меня, насытив крепкой силой для трудной жизни».

О Бабушке-то он и забыл, а если не забыл, то проклял ее так же, как Дедушка: «Старая дура, безумная, безграмотная».

«Две души» написаны по поводу войны — «катастрофы, никогда еще не испытанной миром, потрясающей и разрушающей жизнь Европы», по словам самого Горького. Откуда же катастрофа — от религиозного Востока или от «научного» Запада? Кажется, ясно, что «наука» без религии, полунанука, не только не спасла мир от катастрофы, но, может быть, и была ее главной причиною. Когда человеческий разум утверждает, что он — все, и ничего больше нет в человеке, ничего больше не надо, то сам разум становится безумием.

«Он ведь раньше-то больно хорошим был, дедушка наш, — да как выдумал, что нет его умнее, с той поры и озлился и глупым стал».

Каких нечеловеческих ужасов и мерзостей может наделать этот озлившийся и оглупевший, обезумевший разум, мы теперь видим воочию. Это он, Дедушка, маленький, хитрый, хищный «хорек» бьет огромную Бабушку — «от обедни до вечера; побьет — устанет, а отдохнув — опять; и возжами и всяко». Он бьет, а она молчит, терпит — только жалеет «безумная» полоумного:

«Ах, дедушка, дедушка, малая ты пылинка в Божьем глазу!»

О Бабушке Горький забыл, но вспомнит о ней; ушел от нее, но вернется к ней.

Может быть, не только у России, но и у самого Горького — «две души», и он разрывается, мечется между ними — то к Востоку, то к Западу, то к Бабушке, то к Дедушке. Какую из этих двух душ спасти, какую губить?

Но, может быть, не надо губить ни одной, а надо спасти обе, соединить «две души» в одну. Может быть, Россия — не Восток и не Запад, а соединение Востока с Западом.

Чтобы соединить, надо не смешивать, а чтобы не смешивать, надо разделить до конца. Это Горький и делает: разделяет, разрывает две души России в своей собственной душе. И если душа его погибнет от этого разрыва, то недаром: она погибнет, чтобы спасти другие души.

Так, «безбожный», делает он Божье дело. Разрыв двух душ — Запада и Востока, действия от созерцания, земли от неба — неполная, не последняя, не вечная правда. Но нет иных путей к правде вечной, как жертва одной из двух не вечных; только надо знать, чем и для чего мы жертвуем. Горький этого еще не знает; может быть, узнает когда-нибудь.

«Святая Русь! Святая Русь!» — затвердили мы кощунственно. — Нет, не святая, а грешная, — сказал Горький так, как еще никогда не говорил.

Однажды дедушка засек Алешу до потери сознания. «С тех дней, — вспоминает Горький, — точно мне содрали кожу с сердца, — оно стало невыносимо чутким ко всякой обиде, своей и чужой». Вот это сердце с содранной кожей все еще бьется в Горьком.

Однажды «господин в новом мундире», Алешин отчим, бил его больную мать. «Даже сейчас вижу, — вспоминает Горький, — эту подлую, длинную ногу, с ярким кантом вдоль штанины, вижу, как она раскачивается в воздухе и бьет носком в грудь женщины». Алеша схватил нож и ударил отчима. Вот этот нож все еще в душе у Горького: для него не в переносном смысле, а в точном, кровном, кровавом: обида России — обида матери.

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам².

Но вот для Алеши «отеческий гроб» — «тухлый Дюков пруд, куда дядья зимою бросили отца его в прорубь». Вот какое «отечество» надо полюбить Горькому.

Когда Дедушка бьет Бабушку смертным боем, и та молчит, терпит — «мне заказано терпеть», — мы умиляемся:

Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!³

«Святая Русь! Святая Русь!» Горький не умиляется. Да будь она проклята эта «святость», если от нее все наши мерзости!

«Вспоминая эти свинцовые мерзости дикой русской жизни, я минутами спрашиваю себя: да стоит ли говорить об этом? И с

обновленной уверенностью отвечаю — стоит; ибо это — живучая, подлая правда, она не издохла и по сей день. Это та правда, которую необходимо знать до корня, чтобы с корнем же и выдрать ее из памяти, из души человека, из всей жизни нашей, тяжелой и позорной». Никто никогда не говорил об этой правде так, как Горький, потому что все говорили со стороны, извне, а он — изнутри.

По нашему, по Толстому и Достоевскому — «смирение», «терпение», «неделание», а по Горькому, возмущение, восстание, делание — «страшно верное, страшно русское». И если Россия не только откуда-то пришла, но и куда-то идет, то в этом Горький правее Толстого и Достоевского. В этом Россия грешная святее «святой».

И не нужна ли большая любовь, чтобы любить грешную, чем «святую»? Не нужна ли большая вера, чтобы верить в грешную? Такою любовью любит, такою верою верит Горький.

«Не только тем изумительна жизнь наша, что в ней так плодovit и жирен пласт всякой скотской дряни, но и тем, что сквозь этот пласт растет доброе... возбуждая несокрушимую надежду на возрождение наше к жизни светлой, человеческой».

Никто никогда не говорил об этой надежде так, как Горький, потому что опять-таки все говорили со стороны, извне, а он — изнутри. Надо самому пройти сквозь тьму России прошлой и настоящей, чтобы так говорить о светлой России будущей.

Да, не в святую, смиренную, рабскую, а в грешную, восстающую, освобождающуюся Россию верит Горький. Знает, что «Святой Руси» нет; верит, что святая Россия будет.

Вот эту-то верою и делает он, «безбожный», Божье дело. Ею-то он и близок нам — ближе Толстого и Достоевского. Тут мы уже не с ними, а с Горьким.

